

Д.Н.Мамин-Сибиряк. Избранные произведения для детей / Рисунки
Е.Мешкова. //Государственное Издательство Детской Литературы,
Москва, 1962
FB2: "Miledi ", 2008-03-08, version 1.0
UUID: fbf33c56-351e-102b-868d-bf71f888bf24
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

В ученье
(Сказки и рассказы для детей)

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0013
III.....	.0023
IV.....	.0032
V.....	.0041

**Дмитрий Наркисович Мамин-
Сибиряк
В ученье**



Наступал уже дождливый осенний вечер, когда Сережка с матерью подходил в первый раз к фабрике. От вокзала за Невскую заставу они шли пешком. Мать едва тащилась, потому что страдала одышкой. Кроме того, ее давила дорожная котомка, сделанная из простого мешка. На улице уже зажигались фонари, мимо несколько раз пронеслась «паровая конка», пуская клубы дыма; фабрики смотрели на улицу сотнями ярко освещенных окон... Это было фабричное предместье Петербурга, вытянувшееся вверх по Неве на десять верст.

Мать останавливалась перед каждой фабрикой и спрашивала – не та ли это фабрика, на которой работает дядя Василий? Ответы

получались разные, а один пьяненький мастеровой объяснил:

– Дядя Василий? Как же, очень хорошо знаю... Недавно вместе три недели в остроге сидели. Теплый мужик, зимой даже без шубы щеголяет...

Сережке делалось страшно, и он жался к матери. Его пугали эти большие дома, гремевшая конка, торопливо бежавшие куда-то люди, валивший густыми клубами дым из высоких фабричных труб и вообще все, что попадалось на глаза. Ему невольно вспоминалась своя деревня, где сейчас так тихо-тихо и только кой-где мелькают красные огоньки. Сердце Сережки сжималось как-то само собой, и ему почему-то казалось, что попадавшиеся на встречу люди непременно злые.

– Мамка, скоро? – шепотом спрашивал он.

– Скоро, скоро... Погоди.

Наконец они дошли и до той фабрики, на которой работал дядя Василий. Стоявший у ворот сторож сказал, что надо будет подождать, когда отдадут свисток на шабаш. Он как-то особенно любовно посмотрел на Сережку и заговорил:

– В учебу привела мальчонку?

– Уж не знаю, как дело выйdet... – уныло ответила мать. – Отец-то у нас помер после успенья, так вот... я...

У нее точно перехватило горло. От усталости и ожидания она расплакалась.

– Значит, деревенские, – решил сторож. – О чем ревешь-то, глупая? И здесь люди живут...

– Девчонка у меня махонькая осталась в деревне-то... Значит, у свекровушки сейчас. Ох, горе наше горькое... Только стали поправляться, избу новую поставили, а тут немочь и присунься. Всего две недельки и полежал Тихон-то Петрович... Долги остались... Новая изба за полцены ушла да еще лошадь продали. Как есть ни при чем и осталась...

Сережка слышал эти причитанья матери слишком часто и потому был занят совсем другим: мимо них катились тяжелые телеги ломовиков, с дребезгом ехали извозчики и люди шли без конца.

«Откуда только берется такая прорва народа?» – думал Сережка.

Он от удивления раскрыл даже рот, но сейчас же получил от бежавшего мимо маль-

чишки здоровый подзатыльник.

– Ворона залетит, деревня! – крикнул мальчишка, удирая по тротуару.

Наконец загудел фабричный свисток, и из ворот фабричного двора длинным хвостом потянулись рабочие – мужчины и женщины. Сторож осматривал каждого и сделал исключение только для дяди Василия.

– Тут к тебе пришли, Василий, – объяснил он.

Мать Сережки в первую минуту не узнала брата, так он изменился за десять лет, как ушел из своей деревни. Он и похудел, и оброс окладистой бородкой, и точно сделался ниже ростом. Поздоровавшись с сестрой, он как-то растерянно заговорил:

– Знаю... все знаю... Ну, что же делать!.. Все под богом ходим. Как-нибудь надо жить... По-маленьку устроимся...

Он покосился на Сережку и почесал в затылке. Мать заметила это движение и удержалась, чтобы не разреветься.

– Ну, пойдете... – как-то нерешительно предложил дядя Василий. – Я тут близко живу... Да, угораздило тебя, Марфа... Ну, да пого-

ворим после...

Они перешли дорогу, повернули влево и вошли на двор двухэтажного деревянного дома. Дядя Василий делался с каждым шагом все мрачнее... В глубине двора стоял покосившийся двухэтажный флигель, куда они и пошли.

– Держи левее, – повторил несколько раз в темноте дядя Василий. – А тут прямо...

Марфа с трудом поднялась по лестнице во второй этаж. Дядя Василий ждал в дверях.

– Кого это принесло? – слышался раздраженный женский голос из-за ситцевой занавески, разделявшей большую грязную комнату на две половины.

– А из деревни... – неохотно ответил дядя Василий, с ожесточением бросая свою фуражку куда-то в угол. – Значит, сестра... да...

«Чистая половина» освещалась дешевой лампочкой. На столе в переднем углу стояла приготовленной какая-то еда, а около нее сидела на стуле девочка лет пяти, сторбленная и худенькая, как щепка.

– Ну, садитесь, так гости будете, – приглашал дядя Василий.

Из-за занавески выглянуло испитое женское лицо. Эта была жена дяди Василия.

– Вот так обрадовали, нечего сказать, – проговорила она и засмеялась. – В самый раз, дорогие гости.

Марфа стояла у дверей, не решаясь снять своей котомки. Она в первый раз видела невестку, о которой дядя Василий писал всего раз, что «принял закон с девицей Катериной Ивановной».

– Чего стоишь-то? – тоже с раздражением проговорил дядя Василий. – Раздевайся... Катя, а ты, того, самоварчик сообрази.

– Да ты с ума сошел! – слышалось из-за занавески. – У нас не постоялый двор, чтобы поить чаем встречного-поперечного...

– А ты помалкивай! – уже грубо заметил дядя Василий. – Пожалуй, лучше так-то будет. Не встречные-поперечные пришли, а родная сестра, Марфа Мироновна. Так это и чувствуй...

– Всякая деревенщина полезет в избу...

Дядя Василий быстро ушел за занавеску, и оттуда слышались глухие всхлипывания.

– Чего дерешься-то, идол? Каторжная я вам

далась, што ли?..

Дядя Василий вернулся к столу такой бледный и долго молча гладил по голове свою девочку. Он тяжело дышал и несколько раз смотрел злыми глазами на занавеску. Мать Сережки медленно и с трудом сняла свою тяжелую котомку, мокрую кофту и осталась в деревенском сарафане. Ее больше всего смущало то, что она может «наследить» грязными башмаками, а снять их не решалась. Ссора дяди Василия с женой из-за нее тоже не обещала ничего хорошего. Так уж все шло одно к одному... Сережка смотрел на мать и на дядю и начинал бояться последнего. Когда дядя Василий опять хотел идти за занавеску, Марфа его удержала за рукав.

– Не надо, Вася...

– Ах, оставь... Ничего ты не понимаешь. Катя, ты сейчас иди к свояку и позови его чай пить...

– Так и побежала...

– Ты опять?

Послышалось сморканье, а потом Катерина Ивановна, накрывшись платком, быстро вышла из комнаты. Дядя Василий проводил

ее глазами, покрутил головой и проговорил совсем другим голосом:

– Марфа, ты не подумай, что Катя злая. Так, стих на нее находит... А спускать ей тоже невозможно. Ни боже мой... Способу не будет, ежели ей покориться. А так она добрая...

– А ты бы все-таки, Вася, ее не трогал, – нерешительно проговорила Марфа, поглядывая на дверь. – Родня родней, а она жена...

– Ничего, все обойдется.

Дядя Василий подозвал Сережку, поставил его перед собой, пощупал руки и грудь и проговорил:

– Ничего, мальчуга хороший... Пристраивать его привела, Марфа?

– Уж и не знаю, Вася, как быть... Дома-то не у чего ему оставаться. Избу продали, лошаденку продали...

В ее голосе послышались опять слезы, но она удержалась, потому что дядя Василий нахмурился.

– Ладно, ладно, сестра... Будет. «Москва нашим слезам не верит» – говорили старики. Устроим мальчугу вот как... А ты на Катю не обращай внимания. Обойдется помаленьку...

Время от времени дядя Василий гладил свою девочку по голове и приговаривал:

– Смотри, Шурка, какие ребята в деревне-то растут! Вон какой крепыш... Не то что ты.

– Она хвора? – спросила Марфа.

– Нет, этого нельзя сказать... А так, не она хлеб ест, а ее хлеб ест. Наши фабричные ребятки все такие изморыши... Значит, здесь климат такой для ребят, то есть сырости много... и притом грязь. Самый скверный климат, не то что в деревне у вас, где один воздух...

Этот разговор был прерван шумом на лестнице, а потом в комнату вошел приземистый мужик в одной жилетке и опорках, надетых на босу ногу.

– А я вот-ан, Василь Мироныч!.. Зравсте... Эге, видно, ехала деревня мимо мужика да в гости и приехала. Сестрица будете Василь Миронычу? Наше почтение, значит, вполне... ежеминутно...

Потом пришедший погрозил пальцем хозяину, укоризненно покрутил головой и заметил:

– Эх, брат, не хорошо обижать женский пол... Вот как разливается теперь Катерина Ивановна, река рекой. А промежду прочим, отлично... Пусть Парасковья Ивановна чувствует свое ничтожество, потому как ежеминутно должна покоряться собственному законному супругу...

– Будет тебе околесную-то нести, Фома Павлыч, – остановил его дядя Василий. – А мы вот что сообразим... чтобы честь честью все было... Понимаешь?

– Ежеминутно...

Фома Павлыч при этом подмигнул и потянул воздух носом. Дядя Василий достал кошелек, вынул из него рублевую бумажку и, откладывая по пальцам, говорил:

– Сороковка водки – раз... пару пива – два... Теперь нацет закуски: колбасы вареной полфунта, селедочку... парочку солененьких огурчиков... ситнова три фунта... Понимаешь?

– Вот как понимаю, одна нога здесь, а другая там... Ежеминутно оборудуем.

Подмигнув и повернувшись на одной ноге, Фома Павлыч ушел.

– И для чего это ты затеваешь, Вася, – корила Марфа. – Деньги только понапрасну травишь, а жена будет тебя ругать.

– Перестань, говорят... Ничего вы, бабы, не понимаете. Как есть ничего... А при этом кто мне может запретить родную сестру угостить? В кои-то веки увидались... Бывает и свинье праздник, милая сестрица. Вы только не беспокоитесь, потому как у вас свои порядки, а у нас свои... А Фома Павлыч мой друг и приятель и при этом свояк: на родных сест-

рах женаты.

Фома Павлыч действительно вернулся «живой ногой», а за ним пришла и Катерина Ивановна.

– Катя, самовар поскорее! – весело торопил дядя Василий. – Гости-то наши здорово проголодались. Сидят да, поди, думают: в городе толсто звонят, да тонко едят.

– Мы еще на машине хлебушка поели, – ответила Марфа. – Сытехоньки.

– Сказывай... Знаем мы вашу деревенскую еду.

Пока самовар кипел, дядя Василий развернул закуску и налил четыре рюмки водки.

– Нет, уж меня уволь, Вася, – отказалась Марфа. – Отродясь не пивала.

– Ну, как знаешь. Эй, Катя...

Катерина Ивановна вышла и выпила поданную ей рюмку.

– Это ей для здоровья дохтур велел, – объяснил дядя Василий, точно извиняясь за жену. – Ну, Фома Павлыч, будь здоров на сто годов...

– Аль выпить, Василь Мироныч? Ну, одну-то куды ни шло... Будьте здоровы... ежеминутно...

От селедки и колбасы Марфа тоже отказалась, а за ней и Сережка, что даже обидело дядю Василия. Зато они с величайшим удовольствием принялись за ситник и огурцы. Сережка ел с таким аппетитом, что у него даже выступили слезы на глазах. Мать потихоньку дергала его за рукав рубашки, но мальчик был слишком голоден, чтобы понимать это предупреждение. Маленькая Шура с удивлением смотрела на него своими большими глазами и наконец проговорила:

– Папа, дай мне такой же точно кусок ситника... и огурец...

– Позавидовала? – смеялся дядя Василий. – Ну, учись у деревенских, как хлеб нужно есть... Она у нас, как барышня, – только посмотрит да понюхает еду.

Когда сороковка была выпита, дядя Василий и Фома Павлыч сделались сразу добрее.

– Что же это у нас закуска даром остается? – говорил дядя Василий, почесывая в затылке. – Фома Павлыч, не иначе дело будет, как ты позовешь Пашу, а окромя этого...

Он что-то шепнул Фоме Павлычу на ухо и сунул что-то в руку.

Катерина Ивановна выпила две рюмки, и ее бледное лицо покрылось красными пятнами. Она уже не пряталась за занавеской подавешнему, а сидела у стола и не сводила глаз с Сережки.

– Вот и посмотри, Катя, какие деревенские бывают! – ласково говорил дядя Василий. – Сколоченный весь...

– На сиротство бог и здоровья посылает, – задумчиво отвечала Катерина Ивановна, вздыхая. – Уж, кажется, мы ли не кормим нашу Шурку, а толку все нет. Едва притронется к пище – и сыта...

Пришла Парасковья Ивановна. Она походила на сестру – такая же худая и с таким же сердитым лицом.

– Загуляли? – проговорила она, подсаживаясь к столу.

– Загуляли, Паша, – ответил дядя Василий. – Потому нельзя: сестра.

Фома Павлыч принес вторую сороковку и на пяточок студню в бумажке.

– Это от меня закуска, Марфа Мироновна... На целый пяточок разорился, потому как и мы с вами в родстве приходимся. Вот и маль-

чуган поест студению...

Парасковья Ивановна выпила рюмку водки и страшно раскашлялась.

– Чахоточная она у меня, – объяснял Фома Павлыч госте. – Скоро помрет... Две уж весны помирала. Ежеминутно...

После второй сороковки мужчины сделались окончательно добрыми. Фома Павлыч называл дядю Василия уже Васькой, хлопал по плечу и лез целоваться.

– Отстань... – уговаривал его дядя Василий.

– А ежели я тебя люблю, дядя Василий? То есть – вот как люблю... Скажи мне: «Фомка, валяй в окно!» И выскочу, ей-богу, выскочу... Ежеминутно. У меня уж такой скоропалительный характер... Или люблю человека, или терпеть ненавижу.

Парасковья Ивановна подсела к Марфе и начала ее спрашивать про деревенское житье-бытье. Марфа повторила свой рассказ: как захворал муж, как продали избу и лошадь, как она оставила маленькую девочку у свекрови и повезла Сережку в Питер.

– Куда же ты его денешь в Питере? – спрашивала Парасковья Ивановна.

– А не знаю... Ничего не знаю, голубушка. Как уж бог устроит, так тому и быть.

Выпившие женщины жалели ее и качали головами. Трудно придется такому махонькому мальчонке в чужих людях. Еще неизвестно, куда попадет. Конечно, бог сирот устраивает, а все-таки жаль...

Дядя Василий, когда начали пить пиво, вдруг сделался скучным и все отмахивался рукой, как отгоняют комаров. Фома Павлыч раскраснелся, хихикал и к каждому слову прибавлял: «Ежеминутно».

– Чему ты радуешься-то? – говорил ему дядя Василий. – Несчастные мы с тобой люди, и больше ничего. Да... И не люди, а так... слякоть!

– В каких: это смыслах будет, Васька? Я в другой месяц все пятьдесят цалковых заработаю... Какого же тебе еще человека надобно? Ступай-ка, заработай столько в деревне...

– В деревне? Да ты и во сне не видал, какая такая деревня есть... «Пятьдесят цалковых»! Велики твои пятьдесят цалковых... Как будто и деньги, а в руки взять нечего. Я вот тоже по сорока цалковых зарабатываю, а где они? Ты

вот и подумай, шалый человек... И никому мы с тобой не нужны. Вот совсем не нужны... А вот деревня-то всем нужна – она, матушка, всех нас, дураков, кормит и поит. Без деревни то мы все бы передохли, как земляные черви...

– Ежеминутно, – бормотал Фома Павлыч. – Какой же человек, ежели ему хлеба не дать. Правильно...

– То-то вот и есть... И народ там правильный, в деревне, потому как вся ихняя жисть есть правильная, а у нас баловство. Ну вот выпили мы с тобой две сороковки, поели колбасы да селедки, а дальше что? К чему, например, эта самая колбаса? Вот Сережка и не глядит на нее, потому ему претит... Ты ему щей дай, каши, картошки, а не колбасы. Он будет здоровый мужик, а мы подохнем с своей колбасой. В деревне-то как говорят: «Растет сирота – миру работник». А у нас сирота у всех, как заноза. А ты мне свои пятьдесят цалковых показываешь! Тьфу! Вот что твои пятьдесят цалковых да и мои сорок вместе...

Дядя Василий чем дальше говорил, тем больше сердился. Лицо у него покраснело,

глаза сделались злые; время от времени он кому-то грозил кулаком.

– Правильно... – соглашался во всем Фома Павлыч, начиная моргать глазами. – Ежеминутно.

Этот разговор закончился совершенно неожиданно. Фома Павлыч поднялся, подошел к дяде Василию и, протягивая руку, проговорил:

– Коли так, Васька... ежели, например, сказать к примеру... вообще... Ну, значит, и ударим по рукам.

– В чем дело?

– Давай, просватывай племяша... Значит, тово... беру его в ученики... Человеком сделаю...

– Марфа, слышишь? – спросил дядя Василий. – Значит, определяй Сережку по сапожной части...

– Не знаю, как ты, Вася... – испуганно ответила Марфа.

– Ну, так разнимай руки, – проговорил дядя Василий. – Фома Павлыч человек хороший, хоть и пьяница; не обидит Сережку. А там видно будет... По условию, на пять лет, Фома

Павлыч?

– На пять, Васька...

Они ударили по рукам, а Марфа должна была разнять руки. Она горько плакала. Сережка смотрел на всех и ничего не понимал.

– Ну, теперь будем литки с тебя пить, – заплетавшимся языком проговорил Фома Павлыч. – Посылай еще за сороковкой...

Когда Фома Павлыч проснулся на другой день, у него страшно трещала голова с похмелья. Он лежал несколько времени на постели с закрытыми глазами и старался припомнить – какую сделал вчера глупость. Глупость была, Фома Павлыч это помнил, но очень смутно. Из-за ситцевой занавески, которая отделяла кровать от большой русской печи, он только видел спину жены. Она, по обыкновению, встала рано и хлопотала по хозяйству. Фома Павлыч по тому, как жена гремела жестяной кастрюлей и бросала ухваты, понял одно, что она сердится и сердится именно на него.

«Ах, братец ты мой... – сообразил Фома Павлыч, продолжая валяться на постели. – Выходит дело-то ежеминутно... Ну, чего Паша злится? Уж эти бабы... У самой бы так-то голова поболела с похмелья... да. Тогда бы узнала, каково на свете жить».

Парасковья Ивановна несколько раз заглядывала за занавеску и наконец не утерпела.

– Ты это что валяешься-то, лежебок? – за-

ворчала она. – Белый день на дворе, а ты дрыхнешь.

– Паша, я... ежеминутно.

– Ступай хоть полюбуйся на нового работничка. Кормильца нанял...

Фома Павлыч сел на кровати, поскреб свою виноватую голову и сразу все сообразил.

– Ах, братец ты мой... Оно действительно, Паша, того... Одним словом, ежеминутно!.. И на кой черт я его взял?.. Где он?

– А сидит в мастерской и смотрит, как другие работают. Совсем у тебя ума нет, вот и навязал себе на шею кормильца...

– Ежеминутно, Паша...

И для чего в самом деле он взял мальчишку в ученики? Припоминая, как было дело, Фома Павлыч только почесал в затылке. Просто хотелось выпить и сорвать с дяди Василия «литки», а своих денег не было.

– Ах, нехорошо, братец ты мой, Фома Павлыч, вот даже как нехорошо. А ежели отказать от мальчика – перед дядей Василием совестно... Вот тебе, пьяный дурак! – погрозил Фома Павлыч самому себе кулаком. – Бить тебя мало...

Сапожная мастерская помещалась в подвале старого деревянного дома. Она состояла из двух комнат – в одной была мастерская, а в другой жил сам хозяин. Мастерская освещалась всего двумя маленькими оконцами, выходящими на улицу. Эти окна лежали вровень с землей и давали слишком мало света.

Старый подмастерье, отставной солдат Кирилыч, и днем работал с огнем. Перед ним стояла всегда жестяная лампочка, свет которой пропускался сквозь стеклянный шар с водой, заменявший увеличительное стекло. Кирилыч страдал глазами и плохо видел. Кроме него, были два ученика-подростка, лет по пятнадцати – рыжий Ванька и кривой Петька. Кирилыч всегда был мрачен, любил вздыхать и думать вслух. У него всегда были наготове какие-то сердитые мысли, которыми он точно стрелял в неизвестного врага. Ванька и Петька отличались веселым характером, любили подражаться и вообще что-нибудь поозорничать. Одеты они были, как все сапожные ученики, в грязные рубахи, опорки и грязные фартуки когда-то белого цвета. Для своих лет оба были слишком малы ростом и казались

гораздо моложе. Испитые зеленые лица говорили о многолетнем сиденье в подвале.

В первую минуту, когда Сережка проснулся, он спал на лавке, он долго не мог сообразить, где он. Было еще темно, но рабочие сидели уже вокруг низенького столика и работали. Сережка видел только согнутую спину Кирилыча, а из-за нее смотрели на него Петька и Ванька.

– Проснулся, деревенский пирожник, – проговорил рыжий Ванька и фыркнул.

Кривому Петьке тоже понравилось это прозвище, хотя оно и было придумано без всяких оснований. Петька тоже фыркнул. Конечно – пирожник, настоящий деревенский пирожник!.. По этому случаю кривой Петька даже ткнул рыжего Ваньку в бок кулаком, и обоим сделалось ужасно смешно. Кирилыч сурово посмотрел на них поверх круглых очков в медной оправе и проговорил:

– Вы-то чему обрадовались? Хозяйское дело: кого хочет, того и берет. На то он и хозяин... да. Будь я хозяин – кто мне может указать? Что захотел, то и сделал... Я, например, главный подмастерье и тоже по своей ча-

сти что захочу, то и сделаю.

– А ежели он пирожник? – ответил рыжий Ванька.

– Не наше дело...

Сережке не понравилась мастерская. И темно, и сыро, и холодно, и дышать тяжело. Пахло свежим сапожным товаром, дегтем и еще чем-то кислым... так пахнет, когда мочат долго кожу. Рабочие тоже ему не понравились. Они, наверное, злые, особенно рыжий Ванька, скаливший свои белые, крепкие зубы. Парасковья Ивановна несколько раз выглядывала из своей комнаты, и Сережке казалось, что она смотрит на него такими злыми глазами. Сережке вдруг захотелось плакать, и он решил про себя, поглядывая на дверь: «Убегу... Непременно убегу к себе в деревню».

Мысль о деревне разжалобила Сережку. Он припомнил проданную новую избу, проданную лошадь... Если бы жив был отец, все было бы иначе. Маленькое детское сердце сжалось от страшной тоски по родине. Сережка мысленно видел свою деревенскую церковь, маленькую речку за огородами, бесконечные поля, своих деревенских товарищей... Там все

были добрые и хорошие. В заключение Сережка еще раз подумал про себя: «Убегу».

Фома Павлыч вышел в мастерскую всклокоченный, с опухшим лицом и красными слезившимися глазами.

– Сапоги Корчагину готовы? – строго спросил он, не обращаясь ни к кому.

– К вечеру будут готовы... – ответил сурово Кирилыч.

– То-то, смотрите у меня...

На Сережку хозяин даже не взглянул, а пошел обратно на свою половину. Послышались переговоры.

– Опохмелиться бы, Паша? – виновато говорил Фома Павлыч.

– В самый раз... – сердито ответила Парасковья Ивановна. – Давай деньги...

Фома Павлыч только что-то промычал.

– Кто велел вчера натрескаться?

– Кто? А ежели дядя Василий посылал за мной.

– Дядя Василий, не бойсь, на работе, а ты валяешься... Чему обрадовался-то?

– Всего один стаканчик, Паша...

– Отстань, смола!

– Паша... Ах, боже ты мой!.. Ежеминутно...

У Парасковьи Ивановны были припрятаны на черный день три рубля, но она крепилась и не давала денег. Фома Павлыч надел свои опорки, взял шапку и хотел уходить.

– Ты это куда поплелся? – остановила его Парасковья Ивановна, загораживая собою дверь. – Сказано, не пуцу. Вот еще моду придумал.

Фома Павлыч обиделся и начал отталкивать жену, приговаривая:

– Как ты можешь мне препятствовать? Кто хозяин в дому? Ступай, прочитай вывеску: «Фома Павлыч Тренькин». А ты: «Не пуцу». У меня дело есть...

– Знаем твои дела. В кабак уйдешь, а то в портерную.

Этот неприятный разговор был прерван совершенно неожиданно. Отворилась дверь, и вошла мать Сережки. Она отыскала глазами маленький образок в углу, помолилась и, поклонившись всем, проговорила:

– Здравствуйте... Хозяину с хозяйюшкой много лет здравствовать.

Потом она передала Парасковье Ивановне

какой-то узелок, в котором оказались сороковка водки, горячий калач и десяток принесенных из деревни яиц. Самой Марфе не догадаться бы все это сделать, но научила Катерина Ивановна. Фома Павлыч сразу отмяк.

– Вот это настоящее дело, Марфа Мироновна... В самый то есть раз. Паша, сделай-ка нам яишенку и прочее.

Марфу провели на хозяйскую половину и посадили к столу. Фома Павлыч совсем повеселел и даже потирал руки от удовольствия.

– А вы, не бойсь, о своем детище беспокоитесь, Марфа Мироновна? Будьте без сумления... Все в лучшем виде устроим. Человеком будет...

Когда яичница была готова, позвали Кирилыча.

– Ну-ка, Кирилыч, поздравимся с новобранцем? – говорил Фома Павлыч, разливая водку. – Что делать, выучим помаленьку...

– Как не выучить, ежели понятие есть, – уклончиво ответил Кирилыч, выпивая рюмку. – Все дело в понятии... Без понятия никак невозможно.

Выпитая сороковка всех оживила, и даже

Парасковья Ивановна повеселела.

– Что же, пусть его живет, – проговорила она. – Помаленьку выучится... Все так же начинали. Ежели баловать не будет, так и совсем хорошо.

Марфа осмотрела мастерскую и хозяйскую половину, и ей тоже не понравилось, как Сережке. Не красно живет Фома Павлыч...

IV

Марфа погостила всего три дня и собралась домой. Это было страшным горем для Сережки, первым детским горем. Он так плакал, что Катерина Ивановна взяла его к себе.

– Еще убежит как раз, – говорила она мужу. – Карактер у него такой. Тошно покажется... Пусть пока поиграет с Шуркой.

Сережка не мог успокоиться целых два дня. Он как-то сразу привязался к маленькой Шуре, тихой и послушной девочке, вечно сидевшей на стуле. Она ходила с трудом, как утка. Сережка мастерил ей свои деревенские игрушки, пел деревенские песни, а главное, рассказывал без конца о своей деревне. Шура все говорила и все понимала. В ее воображении Сережкина деревня рисовалась каким-то земным раем. Кроме своего грязного двора и грязной фабричной улицы, она ничего не видала. Девочка напрасно старалась представить себе те нивы, на которых родится хлеб, заливные луга, с которых собирают душистое зеленое сено, домашнюю скотину, огороды, лес, маленькую речку, белую деревенскую

церковь, зеленую деревенскую улицу. Это незнание доводило Сережку до отчаяния.

– Эх, если бы тебе ноги, Шурка... – повторял он.

– Что бы тогда, Сережка?

Сережка осторожно оглядывался и шептал:

– А мы бы убегли с тобой!.. Видела котомку у мамки моей? Вот такую же котомку бы сделали, наложили бы сухарей да по машине бы и пошли... Я знаю дорогу. Прямо бы в свою деревню ушли... А там спрятались бы в бане... Потом я пошел бы к дяде Якову. У него три лошади... Вот как бы ты выправилась в деревне-то!

Маленькая Шура только отрицательно качала своей большой золотушной головкой.

– Я боюсь, Сережка...

– Чего бояться? Будешь здоровая, как наши деревенские девки... Вон ты и есть-то не умеешь по-настоящему, а там наелась бы черного хлеба с луком да с редькой, запила бы квасом... вот как бы расперло.

Мысль о бегстве засела в голове Сережки клином с первого дня городской жизни. Он лелеял эту мысль и любил поверять ее только

одной Шуре.

– Ты только никому не говори... – просил он ее.

– А тебя поймают дорогой...

– Я руки искусаю... Палкой буду драться.

В мастерской Сережка освоился быстро. Работа была нетрудная. Пока он сучил шнурки для дратвы, приделывал к концам щетинки, натирал варом; потом Кирилыч научил его замачивать кожу и класть заплатки на женские ботинки. В первый же праздник рыжий Ванька его поколотил, но не со злости, а так, как бьют всех новичков.

– Нас еще не так дубасили, – объяснил он плакавшему Сережке. – А ты просто пирожник...

Кривой Петька изображал собой публику.

– Дай ему еще хорошего раза, Ванька, – поощрял он приятеля. – Ишь какие слезы распустил, пирожник...

Фома Павлыч и Кирилыч совсем не обижали Сережку, и последний убедился, что в городе не все злые. Парасковья Ивановна даже жалела его, когда по праздникам сидел один в мастерской.

– Ты бы хоть на улицу шел с ребятами поиграть...

– Они дерутся.

– А ты им сдачи давай.

– Они больше меня...

Праздники для Сережки были истинным мучением. Делать было нечего, и его заедала мысль о своей деревне. Он пробовал выходить на улицу, но, кроме неприятностей, из этого ничего не получалось. По шоссе бродила без цели и толку громадная толпа народа. Все галдели, толкались, кричали. К вечеру появлялись пьяные, и начинались драки. Фабричные ребяташки шныряли в этой праздничной толпе, как воробьи, затевая свои драки, шалости и редко игры. Эти изможденные, бледные дети не умели играть... Сережку удивляло, что все они какие-то злые. Он или сидел в мастерской, или уходил к дяде Василию играть с Шурой.

– Чудной он какой-то, – жаловалась сестре Парасковья Ивановна. – На других ребят и не походит совсем...

– Погоди, привыкнет – такой же будет. Деревенское-то все соскочит... Тоскует все.

– Тих уж очень...

К вечеру Фома Павлыч возвращался домой всегда выпивши. В праздники ему разрешалось выпить, и Парасковья Ивановна не ворчала. Он садился у стола и кричал:

– Сережка, как ты меня понимаешь... а? Говори: «Сапожный мастер Фома Павлыч Тренькин...» Так? Праздники... Второе: «Где учился Тренькин?» У немца Адама Адамыча... Немец был правильный. Так... А почему? Потому, что он немец... А про русского сапожника говорят прямо: «Пьян, как сапожник». Хха... Ежеминутно!..

Под пьяную руку Фома Павлыч непременно кому-нибудь завидовал – то немцу Адаму Адамычу, у которого прожил в учениках шесть лет, то дяде Василию, который получает жалованье, как чиновник, то деревенским мужикам, которые живут помещиками...

– Сережка, ведь лучше в деревне... а?

– Лучше...

– Вот то-то... Это только название, что мужик. А как он живет-то, этот самый мужик?

– Всяко живут, Фома Павлыч... Разные мужики бывают. Которые совсем хорошо, кото-

рые ровненько, а которые и совсем худо.

– Худо? А сколько ден в году твой мужик работает? Только летом, и то с передышкой... Обсеялись – жди страды, отстрадавали – лежи целую зиму на печи. Ну, съездит помолотить, на мельницу, за дровами там – только и всего. Мы-то вот целый годдохнем над работой, а мужику что... Брошу я свою мастерскую и уеду в деревню жить. Будет у меня пашенка, лошаденка, коровенка, огородишко... главное – все свое. Никому Тренькин не обязан... Так, Сережка? Дядя-то Василий правду говорит, что мы есть самые пропащие люди. Денег зарабатываем бугры, а какая цена нашим деньгам: что нажил, то и прожил, а у самого опять ничего.

Иногда заходил дядя Василий. Он тоже немного выпивал в праздник и любил поговорить о деревне и правильной жизни. Выпивши, дядя Василий непременно начинал жалеть свою Шурку и даже плакал. С Сережкой он держал себя строго и спрашивал каждый раз Фому Павлыча:

– Ну, как мой племяш? Не балует?..

Все почему-то не доверяли Сережке и жда-

ли, что вот-вот он выкинет какую-нибудь штуку. Эти подозрения скоро оправдались. Подметила дело своим бабьим глазом Парасковья Ивановна. В углу на печи начали появляться корки черного хлеба. Потом они исчезали. Парасковья Ивановна принялась выслеживать Сережку и скоро открыла припрятанные им сухари.

– Это он себе на дорогу готовит, – сообразила она. – Ах, прокурат... Уж эти тихонькие!..

Дальше открыла она, что Сережка устроил себе из старой рубахи и разного тряпья настоящую котомку. Когда Сережка укладывался спать, она потихоньку приносила эту котомку и показывала мужу.

– Что же, правильно, – сообразил Фома Павлыч. – Провиант есть... Теперь остается только забрать спичек и нож... Без этого невозможно... Малый-то серьезный.

Приготовлялся Сережка к бегству очень медленно, почти всю зиму. Он уносил из-за еды по кусочку хлеба и сушил на печке. А потом, как говорил Фома Павлыч, явилась коробка шведских спичек. Мать оставила Сережке пятак, и он стратил на спичку «родную»

копейку». Все дело оставалось в ноже. На четыре копейки его не купишь, а украсть нехорошо.

– Ну, как нож положит в котомку, тогда его и накроем, – решил Фома Павлыч. – Закон требует порядку... Ежеминутно.

Около масленицы в котомке появился и нож.

– Шабаш, брат! – заявил Фома Павлыч. – Теперь надо будет позвать дядю Василия. Его дело... Мы его не обижали.

В решительную минуту Катерина Ивановна невольно пожалела Сережку. Дядя Василий бить будет.

Роковой день наступил. Это было как раз воскресенье перед масленицей. Позвали дядю Василия. Парасковья Ивановна принесла котомку, к которой уже были пришиты ременные лямки.

– Это что такое? – громко спросил дядя Василий.

Сережка даже весь побелел и только взглянул с неммым укором на Парасковью Ивановну.

Расправа произошла тут же, в мастерской.

Дядя Василий больно прибил Сережку, а потом высек. Рыжий Ванька помогал ему от чистого сердца. Сережка даже не кричал, а только мычал от боли.

– Я тебя выучу, змееныш! – кричал дядя Василий, не помня себя от злости. – Тебе добра хотят, а ты что затеял?!

Он опять хотел бить Сережку, но вступилась Парасковья Ивановна и не дала.

– Поучили, и будет, – уговаривала она, удерживая дядю Василия. – Мал еще, ну и глупит... Мы свое думаем, а он свое.

Первой мыслью Сережки после наказания было поджечь мастерскую Фомы Павлыча и этим устранить причину всякого зла в корне. Но так как, кроме мастерской, мог сгореть весь дом, а главное, деревянный флигель, в котором жила маленькая Шурка, то эта мысль заменилась другой – идти и утопиться в Неве. Последнего приходилось подождать, потому что сейчас Нева была покрыта льдом, а бросаться в прорубь Сережка не желал. Он боялся холодной, ледяной воды.

Всю масленицу Сережка просидел дома и ни за что не хотел показываться ни на дворе, ни на улице. Ему казалось, что все будут указывать на него пальцами и говорить:

– Вот это тот самый Сережка, который хотел убежать к себе в деревню и которого дядя Василий высек...

В прощенный день на масленице пришла Катерина Ивановна и сказала:

– Ты это что же, Сережка, и глаз к нам не кажешь... Шурка без тебя вот как стосковалась. Пойдем.

Серезка боялся идти к дяде Василию, но ему хотелось видеть Шурку, о которой он уже соскучился. Скрепя сердце он пошел за теткой. К счастью, дяди Василия не оказалось дома. Шурка страшно ему обрадовалась и сделала строгий выговор:

– Ты папы не бойся, – уверяла она. – Он добрый...

– Ну, не всякое лыко в строку, – говорила Катерина Ивановна, оправдывая мужа. – Мало ли что бывает... Тоже и то сказать, Серезка, что и ты неправ. Хоть бы Шурку пожалел: убежал бы, а она с кем стала бы играть?

Серезке вдруг сделалось легче, точно свалилась гора с плеч. Да, он действительно забыл о маленькой, больной Шурке.

– Это ты от меня хотел убежать, – плаксиво говорила девочка. – Ты нехороший...

Серезка плакал, потому что ему было жаль и своей деревни, и больной городской девочки.

Время шло. Проходили дни, недели, месяцы... Серезка продолжал думать о деревне и мечтал о том блаженном времени, когда делается совсем большим и вернется домой.

Через два года он стал получать уже маленькое жалованье, а потом зарабатывал кое-что в свободное праздничное время. Сколько было радости, когда он мог послать матери первые заработанные три рубля.

– Ну, вот, молодец! – похвалил дядя Василий. – Кто родителей помнит, того бог не забывает. А в деревню хочешь уйти?

– И уйду, дядя, как только буду большим.

Теперь Сережка уж не боялся дяди Василия и говорил с ним смело. Дядя Василий сам любил поговорить о деревне и правильной жизни.

– Отчего же ты, дядя, не уедешь в деревню? – удивлялся Сережка.

– А так... Привык здесь, а там я уж чужой, как выдернутый зуб. Какой я буду мужик, ежели меня по крестьянству определить... Куррам на смех. А на фабрике-то я дома... А главное, не один я тут – большие нас тыщи народу. На людях и смерть красна... Который человек ежели без ошибки, так всегда можно жить и даже очень превосходно.

Из Сережки рос серьезный трудолюбивый мальчик, так что дядя Василий говорил про

него:

– Ну, этот далеко пойдет. Он нам всем утрет нос... Много в нем этой самой деревенской силы.

Фома Павлыч только потряхивал головой. Что же, действительно парень хороший, хоть куда. Вырастет – вот какой работник будет.

Лучшим развлечением Сережки по-прежнему оставалась больная Шурка, которая тоже выросла, но не поправилась. Она была такая же бледная и так же плохо ходила. Сережка играл с ней, как маленький. Теперь Катерина Ивановна души в нем не чаяла и принимала, как дорогого гостя. Она выросла в городе и тоже любила послушать рассказы Сережки о деревне.

– Что ты там делать-то будешь, Сережка? – спрашивала она.

– А все... Землю пахать, сеять, сено косить. Я природный крестьянин, и мне сейчас должно общество надел дать. Ну, лошаденку заведу, коровку... Пока мать за хозяйством приглядит, а потом сестренка подрастет. Женюсь, потому без бабы какое же хозяйство...

– Хочешь богатым быть?

– Зачем богатым... И так проживем. Главное, не надо эту проклятую водку пить... От нее все зло и по городам, и по деревням.

– Это ты верно, Сережка.

Шурка слушала все эти разговоры и только вздыхала. Она была уверена, что сейчас бы поправилась, если бы попала в деревню.

– Конечно, поправилась бы, – уверял Сережка. – У нас вон какие здоровые деревенские девки. Не чета фабричным...

– Это уж конечно... Где же фабричным... синявки какие-то!

Рыжий Васька и косой Петька давно примирились с «деревенским пирожником», тем более что он частенько выручал их от разных неприятностей. Молодые люди любили погулять и скоро узнали дорогу в портерные и трактиры. Из-за этих удовольствий как-то и работа не выходила в срок, и Кирилыч ворчал, а Парасковья Ивановна грозила, что прогонит.

– Вон какие лбы выросли, – ворчала она. – Пора и своим умом жить. Сегодня обрадовались, завтра обрадовались, а кто работать будет?

Фома Павлыч утрюмо отмалчивался, потому что сам встречался в трактире с своими подмастерьями. Кирилыч «срывал» в год раз и пропадал недели на две. В конце концов, самым надежным человеком в мастерской оставался Сережка. Через три года он уже выучился работать, как настоящий мастер, и только робел немного, когда приходилось снимать мерки и выкраивать товар... Как раз ошибешься!

– Ты уж того, Сережка, постарайся, – говорил Фома Павлыч все чаще и чаще. – Понимаешь? Потому как есть настоящий мастер Фома Павлыч Тренькин и не желаю оказывать себя свиньей... У меня своя сапожная линия. Ежеминутно...

И Сережка старался. От работы и житья в подвале он сильно похудел, вытянулся, и в лице его появилась какая-то скрытая озлобленность, как и у других мастеровых. Он так же бегал в опорках и в грязном фартуке, а по праздникам одевался уже совсем по-городски – в пиджак, суконный картуз и суконные брюки. Верхом торжества в этом городском костюме были резиновые калоши, подержан-

ное осеннее драповое пальто и зонтик. Когда дядя Василий увидел его в первый раз в таком костюме, то невольно проговорил:

– Ну, теперь, Сережка, ничего тебе не останется, как жениться. Да... Вот тебе и выйдет вся деревня.

Наконец прошли и пять лет. За последние годы Сережка успел кое-что отложить себе и заявил в день своего мастерского совершеннолетия Фоме Павлычу:

– Хозяин, теперь мы с тобой в расчете...

– Ну?

– Значит, еду к себе в деревню...

– Спасибо здешнему дому – пойду к другому? Ежеминутно...

Фома Павлыч страшно обиделся и побежал сейчас же жаловаться дяде Василию. Тот его выслушал, почесал в затылке и проговорил:

– Ничего не поделаешь, Фома Павлыч... Сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит.

– А я-то как без него останусь? Вот так ежеминутно... Паша как услышала, так и заревела... Он у нас родным жил. Все его жалеют. Главное – непьющий, в аккурате всегда.

Сережка простился со всеми как следует. Больше всех горевала о нем Шурка, которой было уже десять лет. Она горевала молча и старалась не смотреть на Сережку.

– В крестьяне запишешься? – спрашивая дядя Василий.

– В крестьяне... Зимой сапоги буду шить.

– Та-ак... Что же, дело невредное. С богом... Ужо в гости к тебе приедем с Фомой Павлычем...

– Милости просим... Ну, прощайте, да не поминайте лихом.

Катерина Ивановна и Парасковья Ивановна плакали о нем, как о родном.

Дело было осенью, когда уже начались дожди и дни делались короткими. По вечерам в мастерской частенько вспоминали Сережку и завидовали ему, особенно Фома Павлыч.

– Теперь страда кончилась, все с хлебом, – говорил он с каким-то ожесточением. – Свадьбы играют... Пиво свое домашнее, закуска всякая тоже своя, а водку покупают прямо ведрами. Ежеминутно... Эх, жисть!

Можно себе представить общее изумление, когда ровно через три недели, поздно ве-

чером, в мастерскую вошел Сережка.

– Ты это откуда взялся-то? – удивился Фома Павлыч. – Вот так фунт!

– Где был, там ничего не осталось, – уклончиво ответил Сережка.

Вечером у дяди Василия был устроен настоящий пир. Сережка купил за собственные деньги водки, пива и разной закуски. Угощались дядя Василий и Фома Павлыч с женами и Кирилыч.

– Эх, брат, как же это ты так, то есть ошибку дал? – спрашивал дядя Василий. – Мы-то тебе тут завидуем, а ты вот он.

– Скучно показалось, дядя... Точно чужая вся деревня... И все люди точно чужие. Пожил, посмотрел, и потянуло меня опять в город... Главная причина, делать мне там нечего цельную зиму. Какие в деревне сапоги – одно званье, что сапог. Даже по ночам просыпался: так и вижу всех живыми – Фому Павлыча, дядю Василия, Кирилыча... Ну, так и порешил... Значит, уж такая линия вышла!.. Шурку вот все жалел...